

Павел Пономарев

РАССТРИГА

«Возьми ножницы и подаждь ми я», — слышал он во сне, и видел перед собой старенького игумена, бегло читающего по служебнику.

«Возьми ножницы и подаждь ми я», — глухо падали ножницы на ковер, отчего вздрагивали и часто крестились богобоязненные старухи.

«Возьми ножницы и подаждь ми я», — тут он проснулся, широко раскрыв глаза, и увидел над собой испуганное, некрашеное лицо жены.

— Прости, Миша, я фен уронила, — и виновато добавила: — разбудила, да?

В зеркале он увидел свое лицо. Он считал неприличным для мужчины разглядывать лицо в зеркале и всегда смеялся над теми, кто это делал. «Сие женоподобно и мерзко», — шутил он однажды со своим сослуживцем за бутылкой коньяка. Но теперь он оправдывал себя желанием увидеть или понять что-то, что было связано с его сном, через позорное лицемерие. На большой голове недельным «ежиком» серебрилась благородная седина (после женитьбы он решил носить короткие волосы), то же было и на его припухлых щеках. Из зеркала на него смотрело некрасивое лицо с армянским носом, с умными чуть прищуренными близорукими глазами. Он приподнял майку и тут же опустил. Этого он от себя не ожидал и, чтобы замаять неловкость, ехидно улыбнулся в сторону. Майка неохотно сползла по недавно наметившемуся животу.

Жена завтракала, сидя — нога на ногу — за столом, демонстрируя толстые, сладко щекочущие его нутро, ляжки. Она всегда улыбалась. Даже когда ела или читала скучную книгу. Жуя бутерброд с колбасой, он думал, что эта кроткая улыбка его и стубила, стащила с него черный подрясник и нарядила в деловой костюм офисного программиста. Теперь улыбка казалась ему приторной и фальшивой, и он с отвращением подумал, что улыбка, вероятно, дарится не ему одному.

— Миша, ты какой-то скучный сегодня. Это потому что я тебя разбудила, да?

Его раздражала привычка жены всегда говорить «да» в конце просительных предложений. Он считал, что так делают неумные и неуверенные в себе люди.

— Нет, — буркнул он, не глядя на жену. — Просто... спал нехорошо. Кстати, мне отлучиться надо... по работе.

— А как же мама? Мы же обещали... — актерски подняв брови, с ноткой обиды сказала жена.

— К маме на следующей неделе ходим. Дело срочное, — ответил Михаил, вытирая жирные руки салфеткой.

Он боролся с раздражением, возникающим от необходимости оправдываться перед человеком, которого уже не любил.

— А я что буду делать? Сегодня выходной! — голосом, скрывающим большой драматический диапазон, простонала жена. Она знала, что он уже не ответит.

Михаил не помнил, когда последний раз бывал в храме. После того, как надел мирскую одежду, он сторонился церковей. Ему казалось, что его сразу же узнают и разоблачат, хотя он находился далеко от тех мест, где когда-то служил. Да и в чем его можно было бы обвинить? В том, что он пограл церковные каноны? Но в то время, когда он по уши влюбился в кроткую девушку, вечно прячущую глаза и краснеющую от мужских взглядов, — в то страшное и счастливое время каноны были так же далеки от него, как далека теперь от него его законная жена. Та самая — кроткая и богобоязненная девушка в длинной бархатной юбке, с косой ниже сокровенных мест.

В храме былолюдно и душно. Шла литургия. Михаил зашел в притвор, не перекрестившись, и встал за спины прихожан, чинно кланяющихся, как колосья на ветру. Пахло ладаном. Безбородый дьякон, похожий на женщину, задрал орать, натужно возглашал: «Паки и паки...» В углу, возле иконной лавки, суетливые старушки бранились и звенели мелочью. Когда-то он мог бы припугнуть их епитимьей, но теперь он только с раздражением косился на них и чувствовал себя чужаком.

Михаил знал службу на память. Если бы ему и теперь предложили войти в алтарь, он сослужил бы без единой запинки. В семинарии он был, пожалуй, единственным, кто знал церковнославянский

язык в совершенстве. Семинаристы завидовали его способностям и в шутку называли «епископом». Начальство ставило его в пример иным батюшкам из недоучек, рано обремененных семейством, — до седин читавшим по служебнику и не понимавшим того, что читают.

У алтаря, окруженный кучкой народа, исповедовал молодой священник. Бледное лицо его было в красных пятнах, как у подростка, играющего в мяч. Он много жестикулировал и пытался что-то объяснить взрослой женщине, годящейся ему в матери, которая молчала и часто кивала. Михаил смотрел на все происходящее как на спектакль, не зная, смеяться ли ему или развернуться и уйти. Воскресить чувство живой веры было так же трудно, как реанимировать мертвого. Со стен неприветливо косились суровые лица святых и своим видом давали понять ему: да, ты чужой. Зачем же ты пришел сюда?

На выходе из храма его встретили попрошайки с грязными протянутыми ладонями. И даже когда он обошел их стороной, нищие заученно повторяли — «помоги Господи» — ему вслед и машинально крестились. От этого ему стало еще гаже.

Михаил достал телефон и набрал своего приятеля. Пожалуй, единственного человека из всех офисных знакомцев, которому он хоть немного доверял.

— Слушай, давай встретимся где-нибудь. Выпивка за мой счет.

— Лады, — услышал он сонный голос приятеля. — Давай там же, в кафе.

Сидя за грязным столиком в кафе «На набережной», с видом на мутную реку, Михаил вспоминал о том времени, когда, еще юным священником, он служил в небольшом селе, гулял по пшеничному полю, напевая праздничные тропари. От его летнего подрясника пахло землей и сеном. Местные жители, из прихожан, почтительно здоровались с ним и просили благословенья. Служа в старенькой церквушке, освещенной тихими лучами вечернего солнца, он с особой радостью произносил любимый возглас: «Слава Тебе, показавшему нам свет», — и казалось тогда, что не гнусавый дьячок, а сами ангелы невидимо поют в храме и в мире затихают войны.

Когда появился сослуживец с гуляющей улыбкой на губах, Михаил решил, что ничего ему рассказывать не будет. Они редко говорили серьезно, даже когда речь шла о работе. И если он поведает ему, что когда-то был попом, да к тому же монахом, то ничего путного,

кроме дикого смеха и сальных шуточек насчет обета целомудрия, из этого не выйдет.

— Ты о чем-то хотел поговорить? — рассеянно спросил приятель, листая меню.

— Да нет... Просто, спал нехорошо, — не желая выдумывать что-то новое, ответил Михаил.

— Ага, значит, просто решил поднять настроение, — не отрываясь от меню, скалился приятель.

— Типа того, — неохотно ответил Михаил.

Юная блондинка в одежде «под морячка» принесла водку и закуску. Приятель хищно оскалился, провожая ее взглядом.

— Слушай, а ты с Катериной Ивановной еще как... мутишь?

— С ней опасно мутишь. Она мне всю спину исцарапала, — выдавил из себя улыбку Михаил.

— Зверь баба, — оживился приятель. — Но мне говорить на эти темы противопоказано, — сделал он смиренное лицо, лукаво блестя глазами. — Жена меня крестить собралась. Говорит, надо с тобой, Тошик, что-то делать, а то так и помрешь мудаком. А ты-то сам крещеный?

— Крещеный, — сухо ответил Михаил и потянулся за бутылкой.

— Не, я конечно попам не верю. Кто их знает, чего они там себе в бороду шепчут. Я в Бога верю, — серьезно сказал приятель, и от этого заметно поглупел лицом.

— Ну, за Бога тогда и выпьем... — сказал Михаил, опрокинув ледяное зелье в рот.

Михаил не мог вспомнить, что и когда пошло не так в его жизни. Вот он — умный ребенок, сын учительницы, берущий с полки взрослые книги и удивляющий своими познаниями школьных учителей. Вот он — молчаливый студент с умным, пытливым взглядом, жадно ищущий того, чему можно было бы отдаться целиком, без остатка. На языке вертелось избитое слово «истина». Но что такое истина и есть ли она вообще, он не знал. Вот он — бросает институт, «поселяется» в церковной библиотеке, и неотмирный язык Евангелия сладко ранит его душу, открывая ему ту самую истину, которую он искал, и которая есть Христос. Вот он — крестообразно лежит в центре храма в белом хитоне и слышит старческую речь игумена: «Что пришел еси, брате, припадая святому жертвеннику и святей дружине сей?» И он со слезами отвечает: «Желая жития постнического, честный

отче...» Вот он — юный иеромонах, служащий свою первую литургию в новом облачении, прощающий иронический шепот бывалым толстопузым попам и надменным епископским подхалимам. Где же та серая капля, та червоточинка, с которой все началось, спрашивал себя Михаил, — и его тонкая мысль против воли упиралась во что-то твердое и неприятное, чему нет названия...

Распрощавшись с приятелем, Михаил решил в этот же день пойти на исповедь. Он сворачивал на безлюдные улицы, бил себя по щекам, чтобы вышел хмель, и рассуждал, что если нынче же этого не сделает, то не сделает уже никогда. И словно бы где-то внутри просыпалась надежда, словно бы он заново обретал потерянную веру, и, посмотрев на небо, он обрадовался тому, что небо было безоблачным и светлым. И первый раз за все «безбожное время» он истово перекрестился, не обращая внимания на прохожих, подняв голову к небу, — словно бы ему пели ангелы, словно бы в небе проявился лик Того, Кого он так горячо любил, и так бесстыдно оставил... «Я пойду, даже если там будет этот юнец, мне все равно, — думал Михаил. — Пусть он коснется меня своей епитрахилью, как я когда-то касался грешных голов, и тогда все изменится...»

«Я свободен...» — неожиданно запело в его кармане. Михаил вздрогнул и достал телефон.

— Да.

— Здравствуй, Миша. Узнал?

— Катя, ты?

— Я сегодня одна, и в моем холодильнике задыхается от пробки бутылка хорошего вина. Нужна помощь. Ну? Чего молчишь?

— Жди. Я приду.

Михаил сплюнул на асфальт и скорым шагом направился в сторону автобусной остановки.

САРАБАНДА

Посвящается Лаву

В этом районе нужно было не ходить, а петлять, как петляют лисы, унося свою шкуру от охотников, путая следы. Район был окраиной города и назывался Шлакоблочный. В серых трехэтажных домах, сделанных из заводского шлака, жили простые русские люди: зеки, гении и рабочие мертвого завода, ставшего когда-то первопричиной всей здешней жизни. Завод умер, но люди остались жить. Самой судьбой им было предначертано — рождаться в шлаке, жить в нем, засыпать им дырявые улицы, хранить его под сердцем и выплескивать в самые непредсказуемые минуты на тех, кто способен на улыбку. Мы с моим приятелем по прозвищу Лав знали об этом не понаслышке, по-звериному огибая охотничьи ловушки, приманки, в виде кажущихся безлюдными темных переулков. Острым чутьем не раз битых неформалов, мы выбирали безопасные тропы.

Мы подвергали себя опасности не просто так. Мы шли, чтобы родить новые звуки, чтобы на пустырях с горами шлака проросла музыка жизни, и люди бы радостно улыбнулись, обнажив остатки черных зубов. Ведь мы были музыкантами. А может, и просто шли к будущему инженеру, а тогда философствующему панку Зобу — от нечего делать, пиная кедами осенние листья... Уж и не помню.

До двери философа мы добрались живыми, но дома его не оказалось. В упор на нас смотрел мутный глазок, ехидно подмигивая, словно бы давая понять, что хозяин может находиться где угодно — отбиваться в подворотне от гопов, лежать на территории детского сада в луже собственной блевотины, штудировать Ницше на пустыре — только не дома.

— Че делать будем? — спросил длинноволосый Лав, похожий на тощего индейца, сутулясь от тяжести висевшего за его спиной баяна.

Инструмент был казенный, училищный. Он был необходим для создания народного колорита в нашей музыке, а точнее в «гонах». Гон — это особый музыкальный жанр, возникший вследствие реакции юной крови (с примесью паленого спирта) на голую реальность.

— Не знаю, — хмуро ответил я, доставая помятую пачку «Примы».

Мы спустились на лестничную площадку у окна и закурили. В окошке виднелись покореженные песочницы-мухоморы, в которых вместо песка лежал шлак, но играющих детей я там никогда не видел. Дети в этом районе как-то сразу мутировали в малолетних преступников и, сидя на корточках в широких кепках-хулиганках, чем-то напоминали грибную поляну.

Зоб хоть и называл себя панком, обладал исключительным эстетическим вкусом и гостеприимством. Посещение его однокомнатной квартиры было для меня всегда событием. Зоб приучил меня к хорошему крепкому чаю, который следовало пить без сахара, не спеша, из белых чайных чашек, в процессе сократического диалога. Тогда как питался он обычно серой лапшой (хранившейся в капроновом мешке из-под сахара в углу кухни), обжаренной с луком из большой закопченной сковороды. От него же я однажды унес увесистый том Достоевского и кассету с «Русским альбомом» раннего Гребенщикова.

— Зоб, где тебя носит... — задался я риторическим вопросом, пуская дым в холодную стену.

— Тады обратно пошли, — спокойно сказал индеец.

Баян в твердом чехле стоял тут же, на бетоне, и молчал.

Я позвенел оставшейся мелочью в кармане и сказал:

— Не, так просто мы не уйдем. Предлагаю купить портвейна. Тут хватит.

Я выгреб мелочь. Лав хитро посмотрел на нее опытным индейским глазом, и на лице его засветилась детская улыбка. Он водрузил баян на хрупкие плечи, и мы отправились в магазин.

Чутье нас не подвело. Мы обогнули детский садик, прокрались по заросшему коноплей переулку, вышли на проезжую улицу (благо разумно спрятав волосы под рубахи) и, прикинувшись местными, развязно вошли в магазин. Прикинуться местными было непросто: на нас косились не только недавно отбывшие наказание граждане, но и густо покрашенные продавщицы — собственно жены или сестры этих самых неулыбчивых граждан. Нас выдавало все (чего мы за собой не могли заметить) — раскованная походка, глаза (читавшие Чехова и Мандельштама), плавные движения рук (привыкших к гитарным грифам), увесистый баян за плечами Лава... «Человеческое, слишком человеческое!» — словно бы говорили нам исподло-

бья любопытствующие взгляды. Они были по-своему правы. Это их территория жизни, и поэтому не фиг тут ходить с баянами и чеховскими глазами.

— Батон хлеба и бутылку портвейна, пожалуйста.

Вопрос был не понят. Толстая продавщица в грязном переднике смотрела на меня с явным недоверием. Я решил опустить слово «пожалуйста» и повторил просьбу:

— Мне хлеба и портвейна за шисят рублей.

— А ты мальчик или девочка? — с нездоровым любопытством спросила женщина, глядя мне прямо в глаза.

Пеструю феньку, вплетенную в волосы, так просто не спрячешь.

— Андрогин, — не выдержал я.

— Это имя че ли такое?

— Фамилия.

— Ааа, — протянула женщина, но без тени улыбки.

Взяв хлеб под мышку, я попросил Лава спрятать от греха бутылку портвейна в чехол. И теми же лисьими тропами мы благополучно вернулись в подъезд.

Баянный чехол, лежавший на бетонном полу, послужил нам походным столиком, на котором оптикой голодных зрачков были запечатлены: бутылка дешевого портвейна (с привкусом ранней смерти), объединенная с обеих сторон буханка недопеченного хлеба и выпотрошенная пачка «Примы». Попеременно мы прикладывались к зеленому стеклу бутылки, закуривая крепкий сироп табачной горечью и закусывая хлебом. Пили на голодный желудок и поэтому довольно скоро захмелели.

— Лав, сыграй что-нибудь старинное, — душевно обратился я к индейцу.

Лав снисходительно улыбнулся на реплику дилетанта. Он заканчивал «музуху» и поэтому все «старинное» у него имело своего автора и музыкальный жанр с завораживающими мой слух названиями — «чакона», «пассакалия», «сарабанда»...

— Эту, как ее, сарабанду сыграй, — с трудом вспомнил я название.

— Тебе какую — Генделя али Баха? — медленно и несколько иронично сказал Лав.

Хотя по его блестящим глазам было видно, что он и сам не прочь помузицировать. Тем более что нас уже нехило колбасило от портвейна.

— Алибаха, — усмехнулся я и зажмурился, предвкушая космическую вязь барочного контрапункта (ну, тогда я таких слов, разумеется, не знал).

Лав аккуратно расчехлил баян, раздул шумные меха, но заиграл не сразу. Он всегда готовился перед тем, как обнаружить стороннему слуху музыкальные звуки, — прядал в воздухе тонкими пальцами, мимически изображал неведомые мне переживания, отмахивал длинные пряди, опутавшие инструмент, за спину. Но вот он блаженно прикрыл глаза и начал играть.

Исписанные нетрезвой рукой стены шевелились от божественных звуков, словно бы напоминая, что они могли бы быть не просто стенами (хранящими нелепые истории бытовых убийств), а фресками готических соборов или бесстрастным фоном для полотен фламандских мастеров. Подслеповатые окна, утыканые окурками, расцветали храмовыми витражами с библейскими сюжетами, а закопченная потолочная высь разверзалась небесным сонмом архангелов и херувимов... Конечно, выражать музыку в словах глупо. Но по ощущениям было именно так.

Незаметно приоткрылась дверь соседа нашего панка, и оттуда показалось недоброе лицо в пресловутой кепке-восьмигранке. Одновременно высунулась еще пара таких же лиц, играющих скулами, и с любопытством смотрела на нас.

— Э-то че тут за кон-церт? — раздался отчетливый голос соседа, с характерной шипящей интонацией змеи перед броском.

Баян словно бы чем-то поперхнулся и умолк.

— Да мы так, — робко ответил я, — Ромку ждем.

— А, Ромку, — теплея в голосе, сказал сосед. — Ромка нормальный пацан, только друзья у него пидоры.

Замечание было не в нашу пользу. Но мы, повидавшие на своем веку и не такие «неловкие ситуации», сохраняли спокойствие. А Лав даже осмелился закурить, хотя тонкие пальцы его, держащие сигарету, заметно дрожали.

— Че за напиток?

— Портвейн.

— Угости сигареткой.

— Пожалуйста.

Чутье мне подсказывало, что бить нас будут не сразу. Это был один из сценариев, когда жестокому и бессмысленному избиению пред-

шествовал душевный разговор «за жизнь»: «чем занимаешься», «где учишься», «че за браслеты», «музыкант или нефор». В последнем вопросе содержалась существенная для здоровья разница. Нефор — значило клоун, пустой человек. А если удавалось «обосновать», что ты музыкант, то в холодных серых зрачках мелькал огонек уважения. И тогда встреча могла обернуться только разговором с пристрастием и пением «группы крови на рукаве», без срезанных тупым лезвием волос.

— Серый, зацени гармошку.

— Это баян, — скорбно заметил индеец.

— Какая на хер разница. Слышь, нефор. Сбациай че-нить. «Мурку» знаешь?

— Не знаю.

— Музыкант, а «Мурки» не знаешь, — с укоризной сказал сосед. — Сыграй, че знаешь.

— «Сарабанду» Генделя знаю, — оживился индеец.

— Эт че за певец? Не слышал.

— Это не певец, а композитор восемнадцатого века.

— Не, мне со словами надо. А то отмудохаю.

Делать нечего. Лаву надо было играть «Сарабанду» Генделя «со словами». А то чуяло мое сердце — и впрямь отмудохают. Сердце начинало тревожно биться. Я испуганно посмотрел на Лава, и с изумлением обнаружил, что в нем нет и тени страха, а заметны лишь известные жесты приготовления к творческому ритуалу: шевеление пальцев, отмахивание до неприличия длинных волос, странная игра лицевых мускулов.

— Я чет не понял. Ты петь будешь? — наезжал сосед, и в это же время раздался голос индейца, сопровождаемый тяжеловесными аккордами ничего не подозревавшего Генделя:

ба-бы

уха-бы

га-ды

пара-ды

я-ду мне я-ду

туды-суды с дудой и без дуды...

Пацаны, сплоченные неведомым доселе переживанием, мрачно курили нашу «Приму» и дымили в готические своды подъезда, за-

полняемые космическими звуками и надтреснутым тенором Лава. Трудно было понять, о чем они могли думать в эти минуты. Только когда музыка утихла, по тем скудным словам, которые оставили пацаны — «благородно», «как в церкви», «я такое на похоронах братишки слышал», — стало ясно, что им в целом понравилось. Футуристический экспромт индейца под звуки величественной сарабанды как нельзя лучше откликался в израненных и обесцвеченных душах этих людей. Может, они почувствовали детство, которого у них не было, или красоту, которую не могли выразить словами...

История осталась в прошлом. Тракторный завод сровнялся с землей и порос горькой полынью, волосы нам остриг услужливый парикмахер, Зоб открыл магазин бытовой техники, а в центре Шлакоблочного района появился огромный красно-желтый гипермаркет. Жители района вставили новые зубы и научились улыбаться, а я разучился. Я без опаски ходил по тем местам, рыл землю в поисках шлака, принюхивался, вглядывался в лица — на меня смотрели как на юродивого, — покупал портвейн, пробовал, сплевывал, прикладывался ухом к тщательно выкрашенной стене...

Напрасно — глухо, музыки нигде не было.

